



ИВАН
БУНИН

Окаянные дни

ЛАУРЕАТ
НОБЕЛЕВСКОЙ
ПРЕМИИ



АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Иван Бунин
Окаянные дни

«Азбука-Аттикус»

1926

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)1+6

Бунин И. А.

Окаянные дни / И. А. Бунин — «Азбука-Аттикус»,
1926 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-25185-4

В течение почти всей своей жизни знаменитый русский писатель Иван Алексеевич Бунин вел дневники. Он считал, что «дневник одна из самых прекрасных литературных форм. Думаю, что в недалеком будущем эта форма вытеснит все прочие». Особую известность получили записи писателя о революционных событиях, впервые опубликованные в 1926 году под названием «Окаянные дни». Революция как хаотичный водоворот лиц, положений, криков, агиток, жалоб, слухов, умолчаний, покаяний, разоблачений. Обличающий и проклинаящий, желчный и горький текст Бунина – одно из самых откровенных и нелюбезных описаний роковых в жизни России событий.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)1+6

ISBN 978-5-389-25185-4

© Бунин И. А., 1926
© Азбука-Аттикус, 1926

Содержание

Революция по Ивану Бунину	7
Окаянные дни	16
Дневник 1917–1918 гг	16
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Иван Алексеевич Бунин

Окаянные дни: дневник, статьи, письма

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024

Издательство Азбука®



Иван Алексеевич БУНИН
1870–1953

Революция по Ивану Бунину

Есть нечто общее между описанием революции в «Окаянных днях» и ее отражением в «Двенадцати» Александра Блока – поэта, которого Бунин искренне ненавидел. И перед Блоком, и перед Буниным революция предстала прежде всего как хаотичный водоворот – лиц, положений, криков, агиток, жалоб, слухов, умолчаний, покаяний, разоблачений, – водоворот, захлестнувший человека, вовлекший его, вопреки желанию, в пучину хаоса и душевной смуты. Из этого хаоса ему уже суждено было выйти иным: обновленным – по Блоку, умудренным – по Бунину, но одинаково непохожим на «человека ветхого». Пестрота художественных приемов «Окаянных дней» и «Двенадцати» очень хорошо выявляет эту хаотичность: романс сменяется частушкой, революционный марш – элегией, «сухая» цитата из газет – беллетризованными «живыми картинками», публицистическая статья – философскими раздумьями. В этой стилевой разноголосице и отразилась своеобразная «разорванность» существования человека в революции: потеря им прежних ориентиров, крушение старых идеалов и обретение идеалов новых, отказ от мира и интерес к миру. Человек ищет, но его путь труден и неизведан, человек объят прошлым, но думает о будущем, человек борется, но борьба – это познание, а «кто умножает познание, тот умножает скорбь». В этой паутине сомнений и раздумий, ежедневно менявшихся настроений, в напластованиях разноречивых мыслей и чувств и начиналась новая жизнь, представшая перед Блоком и Буниным.

Стало обычным говорить о беспристрастности, «полифоничности» Блока, призывавшего «слушать музыку революции», и пристрастности Бунина, революцию проклявшего. Бунин и сам признавал, что не мог оставаться сторонним наблюдателем, но он и оправдывал себя. «„Еще не настало время разбираться в русской революции беспристрастно, объективно.“ Это слышишь теперь поминутно. Беспристрастно! Но настоящей беспристрастности все равно никогда не будет. А главное: наша „беспристрастность“ будет ведь очень и очень дорога для будущего историка. Разве важна „страсть“ только „революционного народа“? А мы-то что ж, не люди, что ли», – читаем в записи 20 февраля 1918 г. Пристрастность очевидца – тоже особый художественный прием, не менее важный, чем нарочитая беспристрастность нейтрального регистратора происшествий. Ненавидящий видит яснее любящего – не случайно на эту мысль обратил внимание в своем дневнике Бунин. Нам по-особому передается тревога революции, жестокость ее проявлений, отчаяние ее жертв, непримиримость ее участников – то, что было так заглушено шумом литавр в революционных одах. Оценки и исторические экскурсы Бунина удивляют своей упрощенностью и в чем-то даже примитивностью – достаточно только услышать, что он говорит о причинах Февральской революции. Но так ему легче выразить свои чувства, облечь их в сентенции и афоризмы, высказать протест – а разве протест совместим с многословием оправдывающих себя и других, и правых и виноватых, всепрощающим, подробным исследованием истоков революции. Бунин стремится как можно точнее передать не столько свои наблюдения, сколько свои ощущения. Он кричит, а для крика непривычна рассуждающая многословность, крик – краток и громок. Бунин не историк революции, он ее жертва, но он и ее пророк, он «отчасти знает и отчасти пророчествует». И в этом пророчестве есть нечто сближавшее его с Достоевским. «„Да!“ – сказала она с мукой! „Нет!“ – возразил он с содроганием...» – так иронично Бунин определял, по воспоминаниям Г. Адамовича, основную формулу творчества Достоевского. Но разве не повторен этот надрыв, пусть и по-другому, во многих строках «Окаянных дней».

«Окаянные дни» – очень своеобразный литературный памятник. Его особенности ярче проявляются при сравнении с другими дневниками, которые оставил нам Бунин, и прежде всего с дневниковыми записями 1917–1918 гг. Последние обращают на себя внимание сжато, конспективно, большей интимностью – это именно личные заметки, не предна-

значенные для публикации. Революции посвящены многие страницы Дневника 1917–1918 гг., но автор здесь не аналитик, как в «Окаянных днях», он лишь регистратор событий, хотя и весьма субъективный. Текст очень краток, в нем многое недоговаривается, многое оборвано на полуслове, часто отмечается то, что понятно лишь автору. В отличие от «Окаянных дней», автор Дневника 1917–1918 гг. почти не вглядывается в себя, не исследует себя, он замкнут, отъединен от читателя. Импрессионистичность описаний, присущая и «Окайным дням», в Дневнике 1917–1918 гг. проявляется наиболее выпукло и обнаженно. Сложный мир человеческих страстей, политических и бытовых распрей, волнующий мир природы – все отражено фрагментарно, все, словно прожектором, лишь частично выхвачено из темноты и высвечено – то ли случайно, то ли нарочито. «На мужицких гумнах молотба, новая солома возле тока, красный платок на бабе...» – здесь запись обрывается, и кажется, что это своеобразный чувственный код автора, известный только ему самому.

В Дневнике 1917–1918 гг. особо обращает на себя внимание описание природы. Оно столь пластично, ярко, многоцветно, что возникает ощущение, будто это черновик будущей повести: «Клены по нашему садовому... необыкновенные. – Сказочный – желтый, прозрачные купы. Ели темнеют – выделились. Зелень непожелтевшая посерела, тоже отделяется. Вал весь засыпан желтой листвой, грязь на дороге – тоже. Ночью позавчера поразила аллея, светлая по-весеннему сверху – удивительно раскрыта. Вообще – листопад, этот желтый мир непередаваем. Живешь в желтом свете», «Все, весь лес необыкновенно сух, шуршит, и непередаваемо прекрасный запах подожженных сушью, солнцем листьев. Блеклая трава засыпана листвой, дубовая листва коричневая на опушке – дубы все шуршат, все бронзово-коричневые». Некоторые дневниковые записи 1917–1918 гг. и являются преимущественно описанием различных ипостасей природы, в которые, словно для связности текста, изредка включается и рассказ о бытовых происшествиях.

Структура и содержание «Окайных дней» намного сложнее и необычнее дневниковых записей 1917–1918 гг. Это и политический памфлет, и философское сочинение, и собрание цитат, и импрессионистичные «живые картины», зачастую без комментариев автора, и читательский дневник, и запись слухов, и отклик на политические события и житейские поступки. Хаотичность составных частей «Окайных дней», однако, во многом кажущаяся. Цитаты подтверждают непосредственные впечатления автора, слухи упрочивают их, прочитанные книги укрепляют его антиреволюционный настрой, «живые картины» – яркая иллюстрация к прочитанному и обдуманному. Словно незримой нитью, все части «Окайных дней» связаны между собой и подчинены одной цели – выразить протест против революции. Политика пропитывает все дневниковые «московские» и «одесские» записи 1918–1919 гг. Даже когда политические рассуждения прерываются какой-либо «живой картиной», явно не связанной с предыдущим текстом, то вывод, «мораль» таких полубеллетризованных описаний вновь возвращает нас к антиреволюционным филиппикам автора – хотя и не всегда прямо, зачастую через подтекст: «Наиболее верным „коммунистам“ раздают без счета что попало: чай, кофе, табак, вино. Вин, однако, осталось, по слухам, мало, почти все выпили матросы (которым особенно нравится, как говорят, коньяк Мартель). А ведь до сих пор приходится доказывать, что эти каторжные гориллы умирают вовсе не за революцию, а за *Мартель*». Даже в коротких, импрессионистичных записях наблюдений, не связанных напрямую с политикой, все равно ощутима скрытая политизация текста. «Опять несет мокрым снегом. Гимназистки идут облепленные им – красота и радость. Особенно была хороша одна – прелестные синие глаза из-за поднятой к лицу меховой муфты... Что ждет эту молодость?» – здесь тревога рассказчика имеет столь же политический оттенок, как и негодование при описании другой «бытовой» сцены: «... Молодой солдат с пьяной, сытой мордой предлагал пятьдесят пудов сливочного масла и громко говорил: „Нам теперь стесняться нечего. Вон наш теперешний главнокомандующий Муралов такой же солдат, как и я, а на днях пропилил двадцать тысяч царскими“».

Разумеется, и выступая как политик, Бунин продолжает оставаться художником. Его политическое кредо часто выражено через образ – и потому нередко так убедительно и бесспорно. Типичный художественный прием Бунина – передача прямой речи, позволяющая, даже при отсутствии авторских ремарок, ярко и пластично рассказать об облике современников тех лет. Возможно, в чем-то эти речи стилизованы – уж очень они красочны, «цитатны», как сказал бы О. Мандельштам. Но не упустим из виду и другое: именно в революционные годы отчетливо проявились сумбур полуграмотной низовой речи, комичность словоупотребления, смешение политических клише и обиходных народных выражений, – Бунину не нужно было ничего приписывать, сочинять или приукрашивать. Для художника Бунина, так строго относившегося к слову, выглядит естественным каждодневное наблюдение за неправильной речью. Это такой же компонент его революционного существования, как и поиски хлеба, прогулки по лесу, споры с колеблющимися интеллигентами. В «Окаянных днях» отчетливо виден весь спектр его оценок нового, непривычного языка: частое отрицание, обычная ирония, редкое одобрение. В дневниках заметен и его интерес к необычному слову и любованье им. Меткое слово повторяется автором и для подтверждения своих мыслей, хотя не только лишь интерес к чужой речи характеризует палитру художественных средств писателя. Они разнообразны. Диалоги и монологи в «Окаянных днях» по сравнению с Дневником 1917–1918 гг. более развернуты и драматичны, описание более живописно и напрямую обращено к читателю. Но «Окаянные дни» – это прежде всего политический дневник. Бытовые зарисовки здесь обычно всегда сопровождаются политическими ремарками – иногда они выглядят как импровизации, иногда отчеканиваются в длинные авторские отступления. Последние выявляют условность формы дневника. Видно, что он не просто фиксирует ежедневные наблюдения автора, но и является записью его политической рефлексии, включавшей раздумья не только о дне прожитом, но и обо всем революционном времени. В «Окаянных днях» очень мало столь характерных для дневниковых записей Бунина предыдущих и последующих лет описаний природы. Они вытеснены пересказами слухов, и, может быть, не случайно: слухи так же целебны для Бунина, как и другое лекарство – обращение к природе. Дневник Бунина – это царство слухов. Записи слухов начинаются уже в «московской» части «Окаянных дней» – тут и Блок, назначенный секретарем Луначарского, и свергнутый большевиками московский градоначальник, ставший одним из «главнейших тайных советников в „Совете рабочих депутатов“». Кажется, что слухи порой заслоняют автора, они нередко повторяются и противоречат друг другу, они часто вытесняют со страниц дневников наблюдателя-очевидца. Возникает ощущение, что слухи как-то незаметно уже подменяют собой реальность, вернее, сами становятся реальностью. Автор рассказывает о происшествиях, очевидцем которых никак не мог быть, без каких-либо оговорок, словно это случилось с ним самим, а не было передано ему через вторые или даже третьи руки. В слухах, отмеченных Буниным, прежде всего улавливаются две ноты: это произвол революции и ее грядущий крах. Слухи, рассказывающие об угрозах, грабежах, конфискации, унижениях, – одна из тех лабораторий, где выковывались антиреволюционные убеждения писателя. Они подтверждали его собственные наблюдения, упрочивали их, придавали им вескость, позволяли видеть в частном общее.

Но слухи имели и другую сторону. Они не только освещали, пусть и искаженно, лики настоящего, они отражали и те ожидания, которыми буквально поминутно жили люди революции – и не одни лишь «бывшие», но и рабочие и крестьяне. «Оптимистические» слухи о поражениях большевиков, их разложении, об успехах Деникина, о близости освобождения из «красного плена» – это то лекарство, которое помогало многим устоять в те трудные времена. Слухи занимают в Дневнике столь значительное место не только потому, что автор мало знает о происходящем вокруг, но и потому, что он и не хочет многого знать, он хочет знать только то, что желает знать. Никто, как пишет Бунин в своих дневниках, «не может не солгать, не может не прибавить и своей лжи, своего искажения к заведомо лживому слуху. И все это от

нестерпимой жажды, чтобы было так, как нестерпимо хочется... Иначе, кажется, не выжил бы и недели». «Оптимистические» слухи – словно вторая, параллельная жизнь Бунина, жизнь, обещающая лучшее, жизнь, манящая надеждами. Без этой другой, «подпольной» жизни существование было бы неполно, бесцветно, мертво.

Может ли быть объективным свидетельство, основанное на слухах? Нет, скажем мы, – но здесь возникает другой вопрос: о чем мы хотим узнать – о чувствах человека, обожженного революцией, или о самой революции, событии столь сложном и многомерном, что о нем не смогут с исчерпывающей полнотой рассказать и сотни свидетелей? Чтобы почувствовать пульс революции, ощутить ее живую ткань, достаточно оценить и частный отклик человека, чуткого, тонкого, одаренного редкой впечатлительностью, интуицией, обладающего особым художественным видением, в котором причудливо сплелись «поэзия» и «правда».

Можно долго говорить о том, насколько соблюдено в «Окаянных днях» равновесие между «негативным» и «позитивным», и спорить о том, что такое дневник Бунина – сплошной обвинительный акт или стенограмма революции, пусть и искаженная, но все же отразившая проблески чужой «правды». Бунин ежедневно слышит рассуждения о том, что революция – действие сложное и всеохватывающее, что ее творцы – и победители, и жертвы, что надо признать наряду с «ложью» и «правду» революции, что в ней есть не только темное, но и светлое. И всему этому Бунин четко и безапелляционно говорит – нет! Бунин не хочет признать революцию, потому что главное, что он в ней видит, – это насилие, а насилию он подчиняться не будет. Бунин как-то интуитивно нащупывал связь между оправданием революции и ее эксцессами, считая именно такое оправдание карт-бланшем для насильников: «Надо еще *объяснять* то тому, то другому, почему я не пойду служить в какой-нибудь Пролеткульт! Надо еще доказывать, что нельзя сидеть рядом с чрезвычайкой... и просвещать насчет „последних достижений в инструментовке стиха“ какую-нибудь хряпу с мокрыми от пота руками!.. Это ли не крайний ужас, что я должен *доказывать*, например, что лучше тысячу раз околоть с голоду, чем обучать эту *хряпу* ямбам и хорям, дабы она могла воспевать, как ее сотоварищи грабят...» Здесь почти каждое утверждение сразу вызывает желание возразить: реалии всегда сложнее, обстоятельства запутаннее, связь между причиной и следствием зачастую и неявна, и необычна. Бунин спрямляет этапы, переходы, напластования, опосредования и показывает эту связь столь нереально обнаженной, что хочется воскликнуть – так не бывает! Но на другой чаше весов было то, что для Бунина дороже всего, – человеческая жизнь. Помогать – значит продлевать дни того порядка, при котором можно грабить, унижать, уничтожать. И не имеет значения, кому помогать – доморощенному любителю стихов или палачу чрезвычайки, – виноваты все. Новый режим, как винтиками, держится малыми делами, незначительными поступками, безобидными увлечениями. Он держится низовым бытом и через быт цементируется, становится чем-то, с чем можно сжиться, что можно потерпеть. И человек, пытающийся выразить свой революционный восторг полуграмотными виршами, упрочивает этот аморальный для Бунина режим временами лучше, чем одиозный чекист. Попробуешь разглядеть «кристальную чистоту» в облике палачей, как это делает Волошин, – и уже признаешь олицетворяемый ими режим чем-то, что достойно существования, и, значит, оставишь лазейку для палачества, ставшего частицей этого режима, – вот мысль Бунина. Можно попенять Бунину на его пресловутую упрощенность; но ведь на другой чаше весов – жизнь. Можно упрекнуть писателя за его пристрастность, но прежде нужно знать, что он защищает жизнь и человеческое достоинство. Спасти эту жизнь, разглядеть вовремя, найти мельчайшие ростки того, что угрожает жизни, – главное, страстное, всепоглощающее желание Бунина, и надо ли упрекать его за то, что его поиск неразлучен с заблуждениями.

В описании тех, кого он ненавидел, Бунин не допускает каких-либо полутонов. «Вы тоже – жертвы века», – обмолвится позднее о революционерах Б. Пастернак, но для Бунина такой взгляд неприемлем. Как это ни парадоксально, Бунин зачастую демонстрирует ту же нетерпи-

мость к чуждой ему культуре, бытовой и духовной, какую он обнаруживает в обличаемых им «красных». Бунин не желает допытываться причин неприязни низов к «бывшим», он не ищет истоков перелома эпох. Для него разрушение – это только разрушение, но никак не созидание, хам – это не заблудший, который может со временем покаяться, но только хам, без каких-либо оговорок. Новый «хозяин земли русской», грубый и жестокий, – символ революции по Бунину, и зачем дробить его образ, выискивая в нем и светлое и темное, – он нужен писателю именно цельным, для того чтобы точнее высказать все, что накопилось на сердце. Люди революции для Бунина – это обычно «похабная солдатня» и «отборные каторжники», и не хочет он даже приблизиться к ним, разглядеть за «каторжными» лицами отпечаток судьбы, личности, духовного мира революционеров. Те, кто призывает оценивать революцию во всей ее полноте, вызывают у него откровенную неприязнь. «„Блок слышит Россию и революцию, как ветер“. О словоблуды!.. Им все нипочем», «„Революция – стихия...“. Землетрясение, чума, холера тоже стихии. Однако никто не прославляет их, никто не канонизирует, с ними борются» – такими записями пестрит бунинский дневник.

Сумбур, присущий поступкам и речи людей из низов, принявших революцию, Бунина отталкивает сразу и бесповоротно. Он видит и удивляется, как в одном человеке могут ужиться стихийный большевизм и ненависть к «голытьбе», доверие к «барину», иногда пересказывает без комментариев его речи, считая их «очень странными вещами». Но он не делает даже попытки подробно рассмотреть этот мир хаоса и сумбура. Это не его мир, «смятение чувств» провозвестников новой жизни ему неинтересно и кажется чем-то исключительным. Разговоры о том, что революционеров нужно просвещать, несмотря на все их прегрешения, Бунин отвергает напрочь, ибо просвещающий тоже становится частицей того мира, который мерзок и отвратителен.

В дневниках Бунина довольно редко можно найти мягкое, доброжелательное описание современников. Преобладают лица жесткие и грубые – и даже не лица, а «типы». Те, кому сочувствует писатель, – это обычно жертвы, и рассказ о них приобретает даже какой-то агиографический оттенок благостности. Главное чувство, которое они вызывают, – жалость и сострадание: «На Тверской бледный старик-генерал в серебряных очках и в черной папахе что-то продает, стоит робко, скромно, как нищий...», «...встретил в Мерзляковском старуху. Остановилась, оперлась на костыль дрожащими руками и заплакала: – Батюшка, возьми ты меня на воспитание! Куда ж нам теперь деваться? Пропала Россия...»

Отрицание революции выявляется на страницах дневника по-разному и не всегда прямо. «В вестибюле сидел какой-то полурабочий, к каждому слову „в общем“ – вроде бы перед нами объективная, безоценочная запись. Но замечен оттенок иронии по отношению к говорящему: невнятица его речи и какая-то неуловимость облика («полурабочий») создают определенное негативное впечатление. Нередки прямые ругательства – «гадина», «негодяй», «каторжник», «зверь», «скот». Иногда они почти не мотивированы, но поскольку, как правило, либо предваряют, либо заключают описание какого-нибудь «революционного эпизода», то их происхождение прослеживается весьма отчетливо. Неграмотная речь, одиозные поступки – Бунин может пересказывать их и никак не откликаясь, не высказывая своего мнения. Но они и сами по себе красноречиво, без каких-либо авторских оценок могут определять настрой читателя. Нередко пристрастность автора выставлена нарочито: следует пересказ одного за другим газетных сообщений, показывающих только изнанку революции и сопровождаемых едкими и меткими бунинскими репликами, выявлявшими исключительно ложь революции. Негативному взгляду Бунина свойственно какое-то особое постоянство. При упоминании им лиц и обстоятельств раз высказанные им оценки обязательно повторяются, даже если изменились и люди, и обстоятельства. Как часто Бунин клеймил газету «Новая жизнь», называя ее большевистской, и обличал писавшего в ней (и издававшего ее) М. Горького. Но содержание газеты изменилось, а бунинское проклятие осталось неизменным: «Купил „Новую жизнь“ несколько номе-

ров. Сейчас читаю номер от 3-го. О негодяи! Как изменили тон! Громят большевиков». Революционеры отвратительны и потому, что они революционеры, и потому, что они отказываются от революции, которую сами вызвали, – бунинские оценки вызывающе прямолинейны, но для него здесь нет противоречий. Бунин в этом случае не интересуется и не восхищается отказом от революции. Он подмечает лишь шатания тех, кто готовил переворот, а затем отрекся от него. Он видит не обстоятельства, а только лица, действующие применительно к обстоятельствам. Обстоятельства – это нечто не зависящее от человека, но поступки человека во многом принадлежат ему самому – и потому так суров приговор Бунина.

Отвращение к насилию, защита его жертв – ось бунинских дневников. Но так ли бескомпромиссно он обличает насилие и по другую сторону баррикад? На этот вопрос однозначных ответов нет. О «белом терроре» Бунин пишет мало, неохотно, иногда торопливо обрывая такие записи едва ли не на полуслове: «„Революции не делаются в белых перчатках...“ Что ж возмущаться, что контрреволюции делаются в ежовых рукавицах». Он иронизирует по поводу газетных сообщений о «зверствах» белых, выискивая в них гиперболы и противоречия. Он многое недоговаривает, ему явно неприятно касаться этой темы. Его рассуждениям здесь свойственна какая-то сдержанность, не исключающая в чем-то и сочувствия: «Народу, революции все прощается, – „все это только эксцессы“. А у белых, у которых все отнято, поругано... – родина, родные колыбели и могилы, матери, отцы, сестры, – „эксцессов“, конечно, быть не должно». Ему не хочется доводить до логического конца свои раздумья о том, почему неизбежен такой террор, ибо это логическое заключение может быть только одно: оправдание насилия. Но и ставить на одну доску красный и белый террор он не желает. О бесчинствах красных он говорит много и громко, о репрессиях белых – вскользь и мимоходом. Он, конечно, не одобряет «эксцессы» белых, но все же находит им извинения; поступкам красных он не допускает никаких оправданий. И не случайно говорится в дневнике о мести за перенесенные обиды – эти записи оказываются наиболее эмоциональными, впечатляющими по накалу чувств. Но и в желании мщения, в пристрастности приговоров, в безоглядной ненависти есть нечто такое, что Бунин никогда не переступит, и такое, от чего он никогда не откажется. Поэтому призывы к мести у него столь редки, абстрактны, потому и не хочет он делать конечных выводов, говоря о терроре белых, – зная, к чему это может привести. С каким возмущением он описывает погромы и не желает выяснять, на чьей стороне были их жертвы, какие идеи защищали виновники погромов и можно ли это оправдывать как ответ за репрессии с другой стороны.

Почему так ненавидел революцию Бунин? Нищета, грубость, безграмотность, анархия, бескультурность, жадность, зависть, ложь – вот плоды революции, на которые прежде всего обращает внимание писатель. Особо отмечено лицемерие «красных», нарочито выпуклое на фоне их демократической риторики, – описаниями бесчестности, взяточничества, грабежа. И прежде всего, что отвращает Бунина от революции, – это ее хаос, в котором перемешаны и девальвированы все основные человеческие ценности, который делает непрочным и самое существование человека. Все, что выходит за рамки привычных, устоявшихся норм цивилизации, представляется Бунину абсолютным грехом. Бунин – человек порядка, «лада», он классик, а не мятущийся романтик. Он ценит упорядоченность, красоту, пропорциональность – в лицах, поступках, в речи и письме, – поэтому и веет от его описаний природы не экстазом, а умиротворенностью. Все, что не укладывается в этот порядок, нарушает гармонию – изломанный Бальмонт, кричащий Маяковский, экстатичная Цветаева, танцующий Белый, ругающийся комиссар, революция, облавы, лживые газеты, запутавшийся Горький, – сразу вызывает у Бунина тотальное отторжение.

В Дневнике 1917–1918 гг. уже отчетливо видна генеалогия бунинской антиреволюционности – от мелких обид и стычек до безоглядной, нарастающей неприязни ко всему, что имеет отпечаток нового режима. Послефевральская анархия 1917 г. стала началом психологического надлома Бунина, не чуждого в молодости и народопоклонничества, и либеральных увлечений:

газеты читаются «прыгающими руками», описание современников все чаще срывается в крик, есть какое-то предчувствие обморока, мерзость почти физически ощутима. «Лето семнадцатого года помню как начало какой-то тяжелой болезни, когда уже чувствуешь, что болен, что голова горит, окружающее приобретает какую-то жуткую сущность, но когда еще держишься на ногах и чего-то еще ждешь в горячечном напряжении всех последних... сил», – писал позднее Бунин в «Окаянных днях». Он еще не «бывший», но, став им впоследствии, не признал особых отличий своего существования 1917 г. от «революционного» жития последующих лет. Еще не обернулись «первые дни свободы» сплошным кошмаром, но какие-то приметы грядущего ужаса улавливаются им в «раскрепощенных» людях: фразеология, нарушение устоев, ложь, чувство безнаказанности. Бунин уже ощущает пришествие Грядущего Хама, его вседозволенность и презрение к тем, чья культура отличается от культуры «низовой». Уже тогда оценки Бунина безапелляционны, хотя и не сопровождаются подробной мотивацией, и не обращается он так часто к слухам и антиреволюционной публицистике прошлых лет для подтверждения своих наблюдений – прием, обычный в «Окаянных днях».

Политическое унижение революцией – развал армии, распад государства, разгул демагогии – во многом совпало у Бунина с личным унижением: косыми взглядами мужиков, зарившихся на его добро, укорами в «барстве», беспочвенными оскорблениями и подозрениями, постоянной тревогой за свою жизнь и за жизни близких ему людей. Это унижение передано в дневнике очень пластично, зримо: перед нами запись не столько происшествий, сколько ощущений автора, его незаживающей обиды. «...Молодой малый с гармонией, солдат, гнусная тварь, дезертир, уставший от шатанья и пьянства. Молчал, потом мне кратко, тоном, не допускающим возражений: „Покурить!“ Мужиков это возмутило – „всякий свой должен курить!“ Он: „Тут легкий“. Я молча дал. Когда он ушел, „Солдат“ рассказывал, что дезертира они не смеют отправить: пять раз сходку собирали – и без результата: „Нынче спички дешевы... сожжет, окрадет“». Унижение пережито очень сильно, и как следствие этого – сгусток ненависти, перешедшей в ругательства: «гнусная тварь». Бунин перебирает детали происшествия, чувствуя горечь нанесенного оскорбления («мне кратко, тоном, не допускающим возражений»), утешает себя тем, что кто-то хотел его защитить, снова говорит о своем унижении («я молча дал»), пытается смягчить его рассказом о том, как многие порицают его обидчика, но чувство унижения все равно не исчезает. «Вечером газеты. Руки дрожат» – так кончается эта дневниковая запись 31 августа 1917 г. Это личное унижение продолжается и позднее. Описание его находим и на страницах «Окаянных дней»: «...Встретил на Поварской мальчишку-солдата, оборванного, тощего, паскудного и вдребезги пьяного. Ткнул мне мордой в грудь и, отшатнувшись назад, плюнул на меня и сказал: „Деспот, сукин сын!“». И точно так же в дневнике вслед за этой записью начинается рефлексия автора – тут и обида, и даже самооправдание, и возмущение обвинением в «деспотизме».

Очень неприятно для Бунина и то, что в революции преобладает прежде всего «материальный интерес»: «И у всех с утра до вечера только и разговору, как бы промыслить насчет еды. Наука, искусство, техника, всякая мало-мальски человеческая трудовая, что-либо творящая жизнь – все погибло». В другой дневниковой записи – 7 июня 1918 г. – это ощущение высказано еще более бескомпромиссно и жестко: «Кучки, беседы, агитация – все на тему о зверствах белогвардейцев, а какой-нибудь солдат повествует о своей прежней службе; все одно: как начальники „все себе в карман клали“ – дальше кармана у этих скотов фантазия не идет». Этой грубости «материальных» запросов революционной толпы соответствует и грубость внешнего облика революционеров, часто отмечаемая на страницах дневников. Создавая их портреты, Бунин дает простор своему сарказму и безжалостной наблюдательности. Рисуя их, он ничем не стесняется и зачастую такой портрет не зеркало, а просто карикатура. «Говорит, кричит, заикаясь, со слюной во рту... Галстучек высоко вылез сзади на грязный бумажный воротничок, жилет донельзя запакощенный, на плечах кургузого пиджака – перхоть, сальные

жидкие волосы всклокочены...» – это далеко не типическая характеристика обычного оратора революции, а утрированный шарж, скорее сгусток того, что наиболее отвратительно для Бунина в облике человека. Под стать этому портрету и живописный набросок неперменного слушателя и участника революционных митингов: «Весь день праздно стоящий с подсолнухами в кулаке, весь день механически жрущий эти подсолнухи дезертир. Шинель внакидку, картуз на затылок. Широкий, коротконогий. Спокойно-нахален, жрет и от времени до времени задает вопросы – не говорит, а все только спрашивает: и ни единому ответу не верит, во всем подозревает брехню». Идет какое-то нагнетание отвратительных подробностей, вид этих людей для Бунина просто физически омерзителен. Говоря о матросах, он прежде всего подмечает звериные приметы в их лицах: «Зубы крепко сжаты, играет желваками челюстей». Увидев революционных манифестантов и услышав их пение, записывает: «Голоса утробные, первобытные. Лица... мужиков, все как на подбор, преступные, иные прямо сахалинские». Примеров таких описаний можно приводить много, но иногда и описаний нет, а есть только ругательства: «пещерные люди», «негодяи», «твари».

И наконец, еще одно явление Бунин подчеркивает очень часто – это фальшь и лживость революционного языка. Любые революционные декламации, высокопарные воззвания, все эти агитки, употребляющие все лозунги равенства и братства, вызывают у Бунина отвращение. Его гнев одинаково обращен на каждого из адептов нового языка, независимо от их партийности – даже если это были либералы-кадеты. Не жаловавший в писательском ремесле экзальтированную театральность, порицавший романтические «выверты» Горького, обличавший неестественный язык декадентов, Бунин в своих политических откликах многое мерит строгим взглядом художника: «Какое обилие новых и все высокопарных слов! Во всем игра, балаган, „высокий“ стиль, напыщенная ложь». И эту же мысль он оттеняет особо, сравнивая французскую и русскую революции: их риторика повторяется, поскольку одна из самых отличительных особенностей всякой революции – «бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана». Больше всего его возмущает ложь нового языка, маскирующего цветистостью фразы разгул террора, произвол преступной толпы, насилие и грабежи. Он сообщает о погромах в Жмеринке и Знаменке и тут же делает характерную оговорку: «Это называется, по Блокам, „народ объят музыкой революции – слушайте, слушайте музыку революции“».

Кто виноват в революции? Этот вопрос постоянно задает себе Бунин. Старый порядок он лишь чуть журит, слегка порицает и всегда не прочь сравнить прошлое и настоящее. Первое оказывается у него намного более благородным, честным, добрым и даже прекрасным – это антитеза «окайным дням». Обличение царского режима является, по Бунину, заблуждением прежде всего потому, что стали зримыми плоды нового порядка. Обвинения монархии лживы для него еще и потому, что они лицемерны, что высказывали их люди, сами очень далекие от народа, не жившие его заботами: «„Развратник, пьяница Распутин...“ Конечно, хорош был мужичок. Ну, а вы-то, не вылезавшие из „Медведей“ и „Бродячих собак“?». Народнические агитки, разоблачавшие «ужасы царизма», Бунин отвергает из-за того, что находит там преувеличения, а их язык уж очень близок к языку агиток большевистских. С иронией цитируя советскую листовку, клеймившую денкинцев как «озверелых от пьянства гуннов», Бунин замечает: «Собственно, чем это отличается от *всей* нашей революционной „литературы“, литературы, о которой он здесь же скажет, что она сто лет позорила все классы общества «за исключением какого-то „народа“ – безлошадного, конечно, – и босяков».

Неприязнь к народопоклонничеству заметна на многих страницах бунинских дневников. Это поклонение не было для писателя таким уж бескорыстным: «Благородство это полагалось по штату, и его наигрывали себе, за него срывали рукоплескания, им торговали». Без обличений жизнь интеллигента была бы скучна, поскольку неистребимо в нем желание быть на виду, прослыть оппозиционером, вызвать шквал аплодисментов. Бунин, правда, готов при-

знать искренность заблуждений многих борцов за «светлое будущее», но от этого его ирония не становится мягче – слишком уж жуткий счет предъявила история за эти мечтания. Умеряя чужой восторг перед «чудо-богатырями, нежнейшими с побежденным врагом», «кристальным человеком, всю свою жизнь отдавшим народу», отмечая и другие, подобные им, народнические мифы, Бунин как-то незаметно сводит желание людей сделать жизнь лучше, помочь нуждающимся облегчить состраданием участь обездоленных – к сплошной игре. И не хочет он говорить о тех, кто не только «срывал аплодисменты», но и шел на каторгу и смерть для того, чтобы вернуть человеку достоинство, вызволить ближнего из нужды и лишений. Не хочет оттого, что видит итог их усилий – революцию, отнявшую у людей их право на жизнь, погрузившую их в нищету, сделавшую их бытие еще более горьким и бесприютным, чем прежде.

Не потому старый порядок рухнул, что он внутренне прогнил, а прежде всего потому, что подталкивали его к пропасти, не заботясь о нуждах России, полчища революционеров, и не было им ощутимого отпора, – таково убеждение Бунина. Что-то толстовское чувствуется в его отрицании важности политических перемен для народа – для Бунина это забава бар, начитавшихся радикальных брошюр. «Не народ начал революцию, а вы, – возражает он собеседнику, утверждавшему, что „Россию погубила косная, своекорыстная власть.“ – Народу было совершенно наплевать на все, *чего мы хотели*, чем мы были недовольны... Не врите на народ – ему ваши ответственные министерства, замены Щегловитых Малянтовичами и отмены всяческих цензур были нужны как летошний снег, и он это доказал твердо и жестоко, сбросивши... и временное правительство, и учредительное собрание, и „все, за что гибли поколения лучших русских людей“». Все это так. Но какое-то ощущение несправедливости, несправедности прошлого жития проскальзывало и в бунинских дневниках. Он, к примеру, пишет о почтальонше Махоточке, выпрашивающей у барина лишние копейки за доставку телеграммы, – и звучит в его рассказе стыд и раскаяние за сытый укор голодному человеку, за то, что в депеше, которую везла за десятки верст заиндевевшая на лютom морозе Махоточка, только и было: «Вместе со всей Стрельной пьем славу и гордость русской литературы!»

Бунин не политик, Бунин – художник. Для него признание какого-нибудь полуграмотного мужика, особенно созвучное собственным настроениям, значило больше, чем тысячи документов, объективно раскрывающих «правду» революции. В его рассуждениях мы находим всего лишь две-три ноты, может быть очень важные, – но революция изначально полифонична, а вот этой-то полифонии, пытливого сверения «за» и «против» революции, в дневниках и нет. Но и те несколько нот крайне ценны, потому что могли принадлежать только Бунину – человеку беспощадно честному, обладавшему столь тончайшей художественной чувствительностью, что и шепот ему мог казаться криком, до пристрастности непримиримому ко всякой лжи. Как и предсказывал Гейне, трещина разломанного мира прошла через сердце поэта – и надо ли поэта осуждать за то, что эта трещина оказалась для него слишком глубокой.

Сергей Яров

Окаянные дни

Дневник 1917–1918 гг

Готово. 1 августа 1917 г. Хорошая погода. Уехала Маня. Отослал книгу Нилуса Клецову. Письмо Нилусу. Низом ходил в Колонтаевку. Первые признаки осени – яркость голубого неба и белизна облаков, когда шел среди деревьев под Колонтаевкой, по той дороге, где всегда сыро.

Слух от Лиды Лозинской, – Ив. С. в лавке говорил, что на сходке толковали об «Архаломеевской ночи» – будто должна быть откуда-то телеграмма – перебить всех «буржуев» – и что надо начать с Барбашина. Идя в Колонтаевку, зашел на мельницу – то же сказал и Сергей Климов (не зная, что мы уже слышали, что говорил Ив. С.): на деревне говорили, что надо вырезать всех помещиков.

Позавчера были в Предтечеве – Лихарев сзывал земельных собственников, читал устав «Союза земельных собственников», приглашал записываться в члены. Заседание в школе. Жалкое! Несколько мальчишек, Ильина с дочерью (Лидой), Лихарев (Коле сказал – «риторатор»), Влад. Сем., Коля, я (только в качестве любопытного), что-то вроде сельского учителя в старой клеенчатой накидке и очках (черных), худой старик (вроде начетчика), строгий, в серой поддевке, богач мужик (Коля сказал – Саваоф), рыжий, босый, крепкий сторож училища. У всех последних страшное напряжение и тупость при слушании непонятных слов устава. Приехал Абакумов, привез бумаги на свои владения, все твердил, что его земля закреплена за ним, «остолблена его величеством». Думал, что членские взносы пойдут на «аблакату» (должностующего защищать интересы земельных собственников).

Генерал Померанцев, гостящий у Влад. Сем., замечательная фигура.

Абакумов вернулся вместе с нами, возбужденный. «Ну, записались! Теперь чтой-то даст Бог!»

2 августа. Очень холодное, росистое утро. Юлий и Коля ездили в Измалково.

День удивительный. В два часа шли на Пески по саду, по аллее. Уже спокойно, спокойно лежат пятна света на сухой земле, в аллее, чуть розоватые. Листья цвета заката. Оглянувшись – сквозь сад некрашенная железная, иссохшая крыша амбара блестит совершенно золотом (те места, где стерлась шелуха ржавчины).

Перечитывал Мопассана. Многое воспринимаю по-новому, сверху вниз. Прочитал рассказов пять – все сущие пустяки, не оставляют никакого впечатления, ловко и даже неприятно щеголеватого-литературно сделанные.

Был Владимир Семенович. Отличный старик! Как Абакумов, не сомневается в своем пути жизненном, в своих правах на то и другое, в своих взглядах! Жалуетесь, что революция лишила его прежних спокойных радостей хозяйства, труда.

3 августа. Снова прекрасный день, ветер все с востока, приятно прохладный в тени. На солнце зной. Дальние местности в зеленовато-голубом тумане, сухом, тончайшем.

Продолжаю Мопассана. Места есть превосходные. Он единственный, посмеявшийся без конца говорить, что жизнь человеческая вся под властью жажды женщины.

В саду по утрам, в росистом саду уже стоит синий эфир, сквозь который столбы ослепительного солнца. До кофе прошел по аллее, вернулся в усадьбу мимо Лозинского, по выгону. Ни единого облачка, но горизонты не прозрачные, всюду ровные, сероватые. Коля, Юлий, я ездили в Кочуево к Ф<едору> Д<митриевичу> за медом. Возвращались (перед закатом), обогнув Скородное. Разговор, начатый мною, опять о русском народе. Какой ужас! В такое небы-

валое время не выделил из себя никого, управляется Гоцами, Данами, каким-то Авксентьевым, каким-то Керенским и т. д.!

4 августа. Ночью уехал (в Ефремов) Женя. Почти все утро ушло на газеты. Снова боль, кровная обида, бессильная ярость! Бунт в Егорьевске Рязанской губернии по поводу выборов в городскую думу, поднятый московским большевиком Коганом, – представитель совета крестьянско-рабочих депутатов арестовал городского голову, пьяные солдаты и прочие из толпы убили его. Убили и товарища городского головы.

«Новая жизнь» по-прежнему положительно ужасна! Наглое письмо Троцкого из «Крестов» <?> – напечатано в «Новой жизни».

День – лучше желать нельзя.

Если человек не потерял способности ждать счастья – он счастлив. Это и есть счастье.

8 августа. Шестого ездил в Каменку к Петру Семеновичу. Когда сидели у него, дождь. Он – полное равнодушие к тому, что в России. «Мне земля не нужна». «Реквизиция хлеба? Да тогда я и работать не буду, ну его к дьяволу!»

Погода все время прекрасная.

Нынче ездили с Колей в Измалково. Идеальный *августовский* день. Ветерок северный, сушь, блеск, жарко. Когда поднимались на гору за плотиной Ростовцева, думал, что бывает, что стоит часа в четыре довольно высоко три четверти белого месяца, и никто никогда не написал такого блестящего дня с месяцем. Люблю август – роскошь всего, обилие, главное – огороды, зелень, картошка, высокие конопли, подсолнухи. На мужицких гумнах молотьба, новая солома возле тока, красный платок на бабе...

Колю подвез к почте, сам ждал его возле мясной лавчонки. Возле элеватора что-то тянут – кучка людей сразу вся падает почти до земли. Из южного небосклона выступали розоватые облака.

Поехали домой – встретили на выгоне барышню и господина из усадьбы Комаровских. Он весь расхлябанный по-интеллигентски: болтаются штаны желтоватого цвета, кажется, в сандалиях, широкий пояс, рубаха, мягкая шляпа, спущены поля, усы, бородка – а la художник.

9 августа. Ездили с Верой в Предтечево. Жаркий дивный день. Поехали к Романовским за медом, не доехали – далеко чересчур мост, повернули назад, поехали к Муромцевым. <...>

11 августа. С утра чудесный день. Вера не совсем здорова, опять боль, хотя легкая, там же, где в прошлом году, и под ложкой. Беспокойное темное чувство.

Перед вечером к Федору Дмитриевичу на дрожках – я, Коля, Юлий. Потом кругом Колонтаевки. Тучи с запада. В лесу очень хорошо, я чувствовал тайный восторг какой-то, уже чувствуется осенняя поэзия. Дорога в лесу и то уже осенняя отчасти. Когда выехали на дорогу – грандиозная туча с юга, синяя. Ливень захватил уже на дворе.

Дней десять тому назад начал кое-что писать, начинать и бросать. Потом вернулся к делу Недоноскова. Нынче уже опять почувствовал тупость к этой вещи.

13 августа. Как и вчера, день с разными тучками и облаками, – небом <?> необыкновенной красоты. Вчера опять ездили с Колей к Федору Дмитриевичу за медом. Умиляющее предчувствие осени.

Нынче Коля уехал в Ефремов. Совсем уехала кухарка с детьми, с Жоржиком. Я возле телеги шутил с ним, целовал (как не раз и прежде) – они уехали, даже головой не кивнув. Животные!

Ходили с Юлием к Вас... Дежурному. Заходили тучи, была жара. Потом разошлось, прелестная погода. Сидели в лощинке, читали газету. Потом по деревне. Грязь, все развалено. Собственно, никто ничего не делает почти круглый год. А Шмелевы лгут, лгут про русский народ!

Кажется, одна из самых вредных фигур – Керенский. И направо и налево. А его произвели в герои.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.